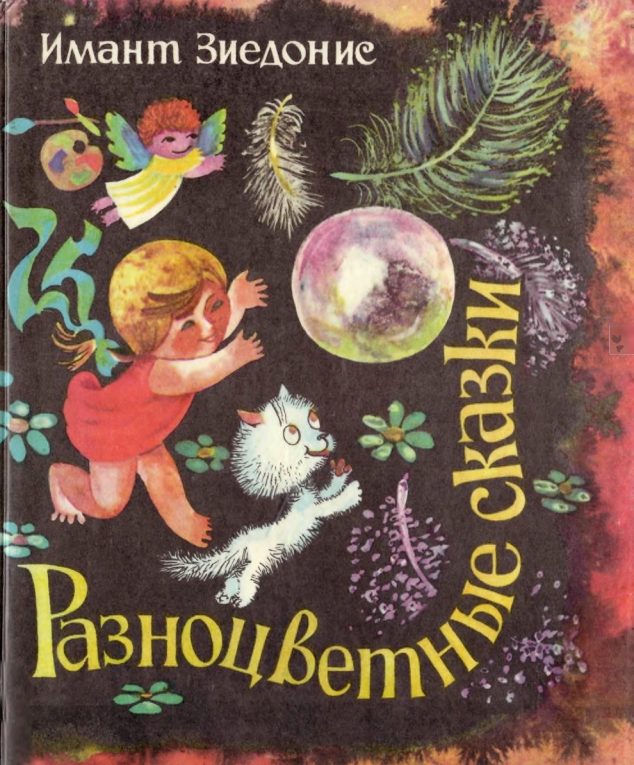


Имант Зиедонис



Разноцветные сказки

ИМАНТ
ЗИЕДОНИС

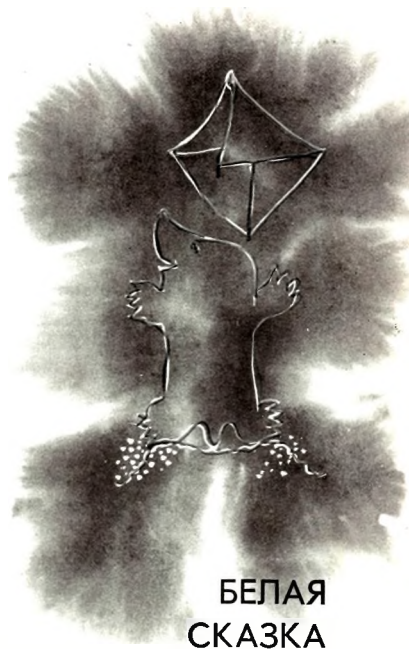
Художник
АЙЯ ЗИЛЕ



Разноцветные сказки

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИЕСМА» РИГА 1979





БЕЛАЯ
СКАЗКА

Вчера выпал первый снег. И кругом все белым-бело. До того бело, что и не разберешь где что. Белая курица снесла белое яйцо, обронила в снег и никак не отыщет. Белохвостый петух выкукарекал белую песню. Взлетела она под стреху, примерзла во-он там: видишь, висит белой сосулькой? У белки-белянки выбельчились бельчата, прыгнули на белые ветки — белка их и потеряла. Деревья стоят белые-пребелые. Бреду я по лесу, не могу разобрать: где дерево, где пень, а где белый день.

Над трубами курится белый дымок. Чернила в чернильнице тоже побелели — даже и не знаю, разберешь ли ты, что здесь написано. Хлеб мы едим только белый и забеливаем кофе сливками. Собрался я утром почистить башмаки, а вакса-то белая!

Вот и наша Гауя* — под снегом белая, под солнцем ясная. Забросил я спиннинг, вытащил белорыбицу, вспомнил ей брюхо, а там — белый утенок (целиком проглотила — какова обжорал). Воткнул я в утячий хвост вот эту писульку и отпустил утенка — пускай его летит! А залетит к тебе, ты накорми его, обрежь кончики крыльев — не то упорхнет! — и согревай ему по вечерам живот белой грелкой. А когда он снесет золотое яичко, сразу же черкни мне.

Адрес у меня такой:

Белому Кроту с берегов Гауи.

P. S. А неохота писать, так нарисуй. Только — чур! — одной белой краской, без единой черной черточки.

* Гауя — река в Латвии



ЖЕЛТАЯ
СКАЗКА



Солнце, точно яичный желток, золотелось над миром. Оно излучало тепло и жизнь. По его лучам соскакивали на землю крошечные цыплята — и все желтые. Это уже потом они обзаведутся разноцветными одежками, а пока все — в желтом. Пчела тоже желтая: вон какой у нее желтый улей. Пригласила она в гости цыпленка, а тот не смог до улья допрыгнуть. «Ну, ничего, — думает. — Вон сколько кругом бабочек, все, как я, желтые. Полетаю-ка с ними». Подпрыгнул цыпленок, да вспомнил: крыльев-то еще нет, одни только крошечные желтыши по бокам. «Ну, ничего, — думает опять. — Стану курицей, захочу — до неба взлечу». А пока забился в мамокурицыны перья, поближе к ее желтому животу, и задремал.

А солнце золотело в небе, точно желтый блин с такими вкусными хрустящими закраешками.

Пчелы — точь-в-точь крошечные комочки пластилина — перелетали с одуванчика на одуванчик, а оттуда — прямоком в свой желтый улей. Только это будто и не улей, а огромная желтая библиотека. Рамки для сот — большие книжные полки и до самого потолка заставлены сотами. Да и соты — вовсе не соты, а крошечные желтые шестиугольники-телевизоры, где вместо экранов посверкивает желтый мед.

Снаружи до самого горизонта виделись желтые-желтые поля и луга, сплошь в желтоцветах, мать-и-мачехе. И видимо-невидимо одуванчиков. Все пригорки в сплошных желтых переливах. Да и само солнце, если приглядеться, сияло так, будто оно только что лежало на этой вот горке и вывалилось в желтых одуванчиках. А луг до того сверкал, что я не выдержал и тоже повалился в эту желтизну. И всего меня тут же дожелта осыпало, запарошило и облепило пылью.

Прибрела желтобрюхая корова, приняла меня за желтый одуванчик да и сочмокала-сжевала меня.

Оттого и не могу писать дальше.





КОРИЧНЕВАЯ
СКАЗКА

А я его видел. Он скакнул прямо на сковородку, такой крошечный и коричневый человечек — и как зациркает, как заскачет по коричневой поджаристой картошке! Как закричит: «Готово! Поспело! Покоричневело!» Едва я поперчил картошку, как он чихнул и пропал.

Считанные счастливики, которые видели его, в один голос говорят, что это — такой крошечный коричневый человечек, что он всегда там, где что-то готовится, жарится, допекается и дозревает. Кричит он всегда только три слова: «Готово! Поспело! Покоричневело!» И все сразу румянится, зреет, буреет, смуглеет и коричневеет. Редко кто видел его: для этого нужно большое терпение. Но мне так захотелось снова увидеть его! Но где?

Где? Да там, где завелось что-нибудь коричневое. Наверняка, думаю, отыщу его возле боровиков. А я знал, что боровики вылезают из земли белы-белешеньки и только потом — непонятно как — коричневеют. Вот возле них-то, думаю, и крутится коричневый человечек.

Наутро чуть свет уселся я на самом подходящем для боровиков месте — под коричневой сосною. Жду. Вот-вот боровичок появится. Так и есть — вылезает. Шапчонка белая. Ну, теперь-то я ни за что с него глаз не спущу. Сейчас сам коричневый человечек пожалует. Жду, жду — никого нет. Жду, жду...

И тут кто-то чихнул. Ух ты, как напугал! А это заяц чихнул. Не успел я на него оглянуться, а боровик уже готов — шапчонка покоричневела. Значит, коричневый хитрячок и тут меня перехитрил.

Ну, ничего. Уставился я на другой боровик. Во все глаза гляжу. Так и сижу — гляжу-гляжу-гляжу, гляжу-гляжу-гляжу, гляжу-гляжу-гляжу... Хруп! Коричневый муравьишка ногу подвернул. Хромает, хро-мает-мается. Как не

пожалеть хромоножку? Пока вправлял ему ногу, боровик опять покоричневел! Наведался сюда коричневый человечек и пропал как невидимка!

Ну, ничего, думаю. Я вот что сделаю: спрячусь-ка в дырке, которую червяк в боровике прогрыз. Задумано — сделано. Залез, притаился. Жду. Тсс, идет! Он на гриб забирается, а я — скок! — к нему! А он — скок! — от меня! В бруснику — и след простыл...

Вот он всегда так: все втихую делает, когда его никто не видит и не слышит. Мазнет по зеленым шишкам коричневым — и готово! «Покоричневело! Поспело! Готово!» — три его любимых слова.

Попробовал я однажды разыскать его в орешнике, когда орехи созревают. Он по ним коричневой кисточкой водит. Ищу в одной грозди, а он уже в другой маляричает. Я — к одной, а он — к другой. Только и слышится: «Готово! Поспело! Покоричневело!» Наконец уселся я возле самой нижней грозди орехов. Уж здесь-то я его дождусь! Как все остальные посмуглит, не миновать ему к самой последней спуститься. Жду час, жду два, жду три. Жду день, жду другой... Долго ли еще этой грозди зеленеть?

На третий день прилетела коричневая лесная пчелка, запуталась у меня в волосах, затрепыхалась и так заголосоила, что на весь лес слышно. Ну и голоси себе на здоровье! Теперь-то я знаю, что это она нарочно — чтобы я переполошился да и снова проворонил коричневого человечка. И не обращаю на нее никакого внимания: пусть голосит, пусть жалит, если ей так хочется, а я все равно с орехов глаз не спущу — вот-вот коричневый человечек появится.

Дзиннь! Летит коричневая мошка-крошка — дзиннь! — и прямиком мне в глаз! Не успел я как следует глаз протереть, смотрю — готово: орехи мои уже посмуглили!

Понял я тогда, что коричневый человечек не хочет,

чтоб его выслеживали и больше не надоедал ему своим любопытством. Но прошлым летом лежу на пляже, вокруг полно народа, и вдруг вижу: на спине у Янки их аж целых семь штук! Крошечные такие коричневые человечки. И коричневыми кисточками его размалевывают! Сказал я про это Янке, а тот смеется, не верит. Да, говорит, спине щекотно было, но он-то думал, что это я его теплым песком посыпаю. А никаких таких человечков, говорит, вообще на свете нет.

Как так нет, если я своими глазами видел! Только это не всякому удастся: огррромное терпение нужно.

А где живут коричневые человечки, никто не знает. Послушать одних — у медведя в шерсти; послушать других — в буром лишайнике; послушать третьих — под шляпками желудей или под корой у сосан.

Говорить они умеют всего лишь три слова: «Поспело, покоричневело, готово». Как только выговорят — мигом все разбухает, созревает, разрывается: каштаны лопаются, у Буренки заводятся бурый теленок.

Только вот никто не знает, как этих человечков звать. Коричняк? Коричневень? Поспéлик? Готовéнь? Готовяша? А ты случайно не знаешь?



СИНЯЯ
СКАЗКА



Синий рысак в сизых овсах. Синий конь-рысак в васильках, в овсах. Еще вчера я видел его. Он жевал синие васильки, и теперь я знаю, почему он синий.

Собрались однажды кони со всей земли. На Вселошажьем собрании белые и вороные, чалые и гнедые, сивые и саврасые, пегие и в яблоках — сказали: «Братцы! Может статься, машины возьмут верх повсюду на земле и тогда переведется наше лошадиное племя. Уже и теперь с каждым годом все меньше у нас жеребят. А коняг-стариков на фермах вообще отдают лисицам на растерзание. Так пусть хоть один из нас станет бессмертным». И было решено, что быть вечному коню цвета мечты — синим, как гиацинты и незабудки. А появляться он будет повсюду, где только мечтают люди. И дали ему синие крылья и назвали Синим Конем Надежды.

И еще постановило Вселошажье собрание, что Синий Конь Надежды будет всегда одинок: ведь сильнее всего тоскуют в одиночестве. И потому не знать ему ни друга, ни подруги, как и не знать ему своих синих жеребят. Он будет одинок и бессмертен.

Погрустнел синий конь. Но остальные сказали, что грусть — она тоже синяя и очень ему идет. И решения своего не изменили.

«Ты — конь мечты,» — сказали ему. «Ты можешь есть и пить все, что и мы, обыкновенные лошади», — сказали ему. «Но помни: если ты станешь есть только то, что едят все, то слиняет твоя синева и тогда тебе конец. Ты — конь мечты и тебе положено есть незабудки. И вообще любые синие цветы — самый лакомый твой корм. Если небо синее — ступай и вываляйся в небе. Если море синее — ступай и выкупайся в море. А захочешь пить — ступай ищи Синий Родник Надежды. Там, в синем лесу,

за синей горою, стоят три ольхи. Под ними и укрылся синий родник. Там три синих сполоха синими саблями вспугнули русака. Там в синей бочке вздремнули три синих тучки. Там... Впрочем, как-нибудь сам отыщешь. А не отыщешь, то пей лишь из синих ведер, синих мисок, синих кружек, из блюда с синей каемкой.

Не забывай, что ты одинок и не положено тебе жить рядом с другими, а назначено жить в синей дали. Люди живут надеждой и подолгу вглядываются вдаль. Там синее далекое небо, там синее далекое море, там синее дальний лес. Там-то твое место. И ближе тебе ни к кому подходить нельзя. А если и подойдешь, то лишь в синий час: в рассветной дымке или вечером тумане).

Так сказало Вселожажье собрание. Оттого редко можно увидеть Синего Коня Надежды, если вообще можно.

А люди все тоскуют по далям. Ранней весной, когда прилетают грачи, когда под орешинной зацветает синяя перелеска, смотри во все глаза: не видно ли где следов синего коня? А то еще случается по весне, кто-то объедает в саду синие гиацинты... Летом же, в ту пору, когда цветет лен или когда во ржи засинеют васильки, тихо пройди полями: где-то там пасется синий конь. Однажды он объел у Инты с зонтика все синие цветы. Пришла она как-то весной на опушку и села зубрить геометрию: экзамены на носу! Зонтик положила в сторонке, а сама с головою ушла в свои теоремы. А как идти домой, глядит — да это же не ее зонтик! Синие цветики с зонтика точно кто языком слизнул, остались одни желтые! И как только он, губастый, их, таких крохоток, так чисто выщипал?

Как-то в туристической поездке расстелили мы на траве чудесную клеенку, всю в синих сливах. Поели — и купаться. Возвращаемся, а все до единой сливы с клеенки съедены! Значит, и здесь побывал синий конь. Но, конечно, для него ничего нет вкуснее синих девчачьих бантиков.

А зимой его можно увидеть в сумерках — лишь там, где ели отбрасывают длинные синие тени. Лижет он тени, а сам до костей продрог. Если хочешь разглядеть или даже сфотографировать его, то выставь во дворе ближе к вечеру чугунок с черничными клецками: до черники он большой охотник.

Тому, кого носит на себе синий конь, весь мир кажется синим: зайцы-беляки для него синие, белый гриб — синий и даже черемуха в цвету — тоже синяя. Сам синь-конь — синее чудо, и кто ни поскачет на нем — синие чудеса видит. Правда, обычно подпускает он к себе только поэтов, только им удается его оседлать. Но если у тебя отыщется горстка синего овса... Ну как, отыскалась горстка синего овса?





ЧЕРНАЯ
СКАЗКА

Это — черная сказка. До того черная, что в ней не видно ни зги. Но все-таки там кто-то есть, только его не видно. Закрой-ка глаза и завяжи их потуже черным платком. Ну что, темно? Ни зги не видно. И передвигаться можно только на ощупь — темно, как в пекле, верно? Так ведь эта сказка и происходит в пекле. Нащупал такого косматого? Думаешь, это Янка? Ничего подобного. Это сам черт! Черный, точно сапожная щетка, — хоть бери и чисти им башмаки. Ну-ка, ткни ему пальцем в пасть. Чувствуешь? Там полно пепла. И нос у него забит пеплом. Но не вздумай пощекотать косматого, не то расчихается — и вся сказка развеется пеплом.

Вот мы и снова наткнулись на что-то в потемках. Похоже, ящик. Да это же телевизор! Черт смотрит телевизор! Черный телевизор, ничего в нем не видно. Видно или нет, но черт смотрит. А чертенята читают черные книги с черными буквами — ну абсолютно черные книги! И завидуя же эти чертовые дети! Сердце у них черное, а в сердце — черная зависть. Если, скажем, один чернявый читает дрянную книгу (а чем она дряннее, тем у них считается лучше), то, думаешь, сосед дает ему спокойно почитать? Не тут-то было! Стащит втихаря из книги все до единой буквы — и в рот! Давится, а лопает: лишь бы соседа без чтыва оставить. Или, к примеру, заведется в дневнике у чертова сыночка двойка или кол (а у них это самые распрекрасные отметки, а хуже пятерки ничего не бывает), то другие рогатые у него эти самые колы и двойки из дневника прямо-таки выгрызают, выедают, выкусывают. Ну и детки! Один, глядишь, сидит, зубрит урок, а другой тем временем кисточку зубрилиного хвоста гвоздем к полу приколачивает!

У чертей все не как у людей, все шиворот-навыворот.

Лакают они черное молоко, грызут черный сахар. Даже вода у них черная. Так и полощут рты черной водой — чтоб ни единой белой крошки в зубах не застряло. Однажды выбрался чертов сыночек в мир человеков, извозюкался в белом снегу. Вернулся в пекло, почистился, а уши помыть забыл. В школе чертов учитель тут же к нему прицепился: «Что еще за чертовщина! Белые уши! Вот так грязнуля!» — И опрокинул в чертячи уши целую баночку черной туши.

Пробираемся в потемках дальше. Кто это тут расселся? А, дитенок-чертенок на черном ночном горшке. Осторожно, не толкни, а то еще заревет черным голосом.

Надо тебе сказать, что никакой свет в пекло не допускается. А дверей в пекле целых семь, и между ними — обязательно коридорчик кишкой. Всего получается шесть кишок. Отворять одновременно первые и вторые или вторые и третьи двери строго-настрога запрещено — чтобы свет не ворвался сразу в обе двери. Ну, а если он все-таки пробрался в первую коридорную кишку, черти мигом — дверь на запор и за черное дело — за све-то-вы-лав-ли-ва-нье! Вылавливают свет по лучику, лучи вяжут в снопы и заворачивают в черные газеты. И только когда до лучика выловят и снова станет темно, как в пекле, разрешается проходить в следующую кишку.

Но, как ты уже знаешь, солнце — великая сила. На свете так много света, что он прорывается-таки в самые дальние коридоры пекла. Послушать чертей, так дальше пятой кишки никогда ни лучик не просачивался. Когда же черти выбираются наружу, к людям, то каждый обязан прихватить с собой завернутый в черные газеты свет и выкинуть где ни попадя — лишь бы с глаз долой.

Приоткроют дверь на самую малость — и поскорей наружу! Но свет проворней чертей: уже успел прошмыгнуть в пекло. Вот на этот случай и дежурит в каждой кишке чертова бригада: хватает этот проклятый свет — и в упа-

ковку, чтобы сунуть под мышку тому, чей черед высказывать наружу, под мышку — да на вынос.

Как-то приглянулся одному шустрому чертенку карманный фонарик. Он и отними его вечером на дороге у мальчишки: на черный день пригодится! Притащил этот самый фонарик в пекло и, веришь ли, аж до пятой кишки доскакал! Там-то его чертова бригада и сцапала. Ты бы видел, что тут началось! Потасили беднягу в чертов суд, а потом — взашей из пекла. До сих пор назад не пускают. Говорят, слоняется он вечерами по дорогам и отнимает у мальчишек карманные фонарики. Особенно у тех, которые нарочно ослепляют прохожих. Скажет только: «Очертенел, что ли? Ты почище меня будешь! Люблю таких!» — И забирает фонарик.

Но только долго ли этот отниматель на свету продержится? Черти на свету подолгу жить не могут. Совсем как мы — в потемках. Так что открой-ка глаза.

Ну, а если ты их вовсе и не закрывал, а все время тарасился по сторонам, то по-настоящему этой сказки не видел — проглядел. Слушал бы зажмурившись, тогда бы и увидел.



КРАСНАЯ
СКАЗКА



Света, Огонечина, доченька Огня. Красная, красивая — на конце свечки пламенеет. Как мила, послушлива! Пляшет — не кусается, дочь Огня, красавица. Красная шапочка, красный каблучок. Пляшет Огонечина, кажет язычок, облизывается. Алым платком обмахивается. Щеки раскраснелись — ну и красавица! Ну и покладиста! Паинька, да и только.

Но в глазах-то — видели? Но в глазах-то — заметили? — вспыхнуло недоброе. Вон как разошлось, разгорелось! Захотелось вырваться на волю. Поноситься по лесу, суходолу-полю. Пробежать чащей, травой шуршащей — вспорхнуть на ветку.

Сидит Огнянка на свечке, нитяной фитилек мусолит. Сидит, мается, во все стороны наклоняется: страсть как покуролесить охота!

Красная Огонечина, пай-девочка. Сидит в фонаре, в стеклянной норе, выйти не может. Да кто-нибудь поможет. Эй, Янка, выпусти! Эй, Огняр, выпусти! Яр, яр, яр! Как ты ярк и яр! Огняр, Огняр, выпусти жар! Покажи по-жар! Пусти Огнянку на сухую траву! На бумагу! На хвою!

Огняр смотрит, а не пускает. Огняр знает: Огонечина — обманщица. Не такая уж она милая, только притворяется. Однажды пожалел ее Огняр, поверил, выпустил на полянку огонек-Огнянку. Пустил со спички на вереск, а она, дочь Огня, забыла, что обещала, обо всем на свете забыла. Разошлась, растрещалась! Вскинулась! Скок — на сосенку, а с нее — на елку. Бежит, шипит. Назад идти не хочет, никаких уговоров не слушает. «Огняночка! Огонечинка!» — упрашивал Огняр. Да какая уж там огонечинка! Даже не огонь, а целое огнище! Не жар, а по-жар! Настоящий пожар.

Понял тогда Огнеяр, что натворил: выпустил жар — вызвал по-жар. Дал волю Огнянке, вот она и беснуется, и ярится, во все стороны кидается. Разрастается красным кругом — не изловить ее, не погасить. Красной рекой рушится на кусты. Красной змеей вползает на ели. Вскидывается красным чудищем, пожирает все, что ни попадя, а все не давится. Вот так пожар! Огнеяр в жизни такого не видел.

А пламя подмяло лес, небеса языком лизнуло. Набегали люди с красными ведрами, с красными баграми. Понаехало красных машин. Били пламя, заливали, белую воду в красный огонь кидали, да, видно, мало: ничего не помогало. Совсем отбилась огонь от рук, все дичал, все крепчал — красный, невозможно алый, а все багровеет.

Весь лес сгорел. Выскочил огонь в поле, стал меньше и тоньше, меньше да тоньше. Подбежал Огнеяр, видит: на самом конце сухой ветки, к земле прижавшись, сидит крохотка-Огонечинка, которую он отпустил погулять по сухому вереску. И сникает, и слабо колышется, и крошечная елочка горит у нее в сердце. Увидела его — и опять за свое: «Яр, яр, яр! Как ты яр и яр!..» Но Огнеяр взглянул на черный выгоревший дотла лес — сколько жизней погублено! Орешник мертв, можжевельнику не ожить. У сосен обожжена кожа — саднит. Сгорели птичьи гнезда. Вон и зайчата не успели удрать, догнал их огонь, подмял...

А Огонечина все колыхалась, подлизывалась: ей бы только веточку лизнуть, по хвоинке скользнуть, попробовать шишку малую!..

Но не было у Огнеяра к ней сочувствия. В лесу лежали зайчата — обгоревшие уши, обугленные лапы. «У, обманщица, лгунья! Сгинь, пропади пропадом!»

«Чего злишься? — сказал фонарь. — Уж такая она есть. Самовольница. Воли ей давать не надо, только и всего». И фонарь властно сверкнул стеклянным колпаком. «Она

ничего, хорошая!» — сказала Лампа, которая тоже гордилась своим колпаком. И Камин сказал: «Ее только на волю выпускать не надо». Ветер затягивал каминное пламя в трубу. Здесь он управлял огнем. Это подтвердили и Печка, и Плита. И все они мирно топились, теплые и красноротые.

Огонечина, словно пай-девочка, снова ютилась в плите, варила картошку. Печная дверца закрыта, наружу лишь один путь — через трубу. А труба длинная — конца не видно. И дыма в ней, дыма! Наружу ни искорки не выбивалось, все в дыму задыхались.

Искры — это ведь огневые бедокуры. Когда в лесу горит костер, то искры кувыркаются, кувырки искрятся — норовят до сухой ветки докувыркаться, вскинуться, расстрещаться, красными языками окинуться, до беды добедокуриться. Каждый мальчишка-свечечный огоньшко только о том и мечтает, чтобы скакнуть на занавеску, а по ней — на потолок, разогнаться по обоям, кинуться в постель, огненно вывалиться в ней и всю-всю комнату заполнить до отказа красным надышанным пламенем.

Каждая спичка только и мечтает, что ею чиркнут возле бака с бензином. Чтоб загрохотал — ба-бах! — красным огненным цветком взорвался воздух. Чтоб все кругом разлетелось в куски, в пылающие клочки!

А пока Огнянка, красная дочь Огня, мирно колыхается на конце свечки. Чем не пайнышка, не красавица? «Ты, значит, злая?» — спрашивает Огнечур. «Ну, что ты! Что ты! — моргает Огнянка. — Мне бы только на стружке полежать. Или на бумаге. Пusti в корзинке для бумаг поиграть! Непустишь? Тогда хоть в спичечном коробке попрыгать! Спички — мои спящие сестрички. Разбужу их — то-то потанцуют!»

Так дочь Огня, Огнянка, подлизывается к Огнечуру, упрасивает: «Яр, яр, яр! Как ты ярко и яр! Выпусти, пожалуйста!»

Колышется крохотка, красная красавица, и Огнеяра опять сомнение берет: «Может, пустить?»

Но вспоминает черных зайчат, слышит голоса лесов, домов, стогов: «Не выпускай ее, Огнеяр, не то будет пожар!» Кажется, просит весь земной шар: «Огнеяр, Огнедел, мастер огненных дел! Ты огонь раздуваешь, ты пожар вызываешь, и ярится огонь. Сделай так, Огнеяр, чтобы всем было спокойно! Чтоб опять не сбежала беглянка-Огнянка! Она хоть и не злая, а самовольница. Ей только дай волю — и тогда конец! Всем нам конец. Всем».

И когда дочь Огня Огнянка снова тревожно замечется и пойдет подлизываться: «Выпусти!», когда капризно грозит: «Вырвусь, все равно вырвусь!» и вдруг зашуршит по сему, — Огнеяр снимает телефонную трубку: «Видишь? Наберу сейчас ноль один и буду уже не один. Все мы против тебя пойдем».

Искра, Огонечина, доченька Огня... Огнеяр и не прочь бы с ней подружиться. И Янка не прочь бы. И Карлис. С Огнянкой, дочкой Огня.

Но как дружить с такой капризой, с такой обманщицей, с такой самовольницей?



ЛИПОВАЯ
СКАЗКА



Жил однажды человек, которому ужас как нравилась водка. Выпьет водки, и пошла у него голова кружиться — это-то ему и нравилось. Пошла у него голова кружиться влево — все быстрее, быстрее, и гудит точно волчок, а потом — стоп! — и остановилась. В глазах рябит, сам за столб цепляется, чтоб на ногах устоять, и ждет: ну да, вот оно — пошла раскручиваться в обратную сторону, все быстрее, быстрее, быстрее, — и опять на полном ходу — стоп! Человек этот, понятно, всегда пошатывался — мыслимо ли прямо идти, если голова кружится! Люди спрашивают:

— И как ты только не боишься, что голова у тебя открутится? Вот так крутится, крутится, да и открутится, и в канаву закатится.

— Ха! — отвечал человек-Водочная Голова. — Никуда она не укатится. Голова — в канаву, так и я — с ней.

— Хорошо еще, — говорили ему, — что голова у тебя покрутится, покрутится да и встанет, как была — носом вперед. А что если вдруг не докрутится, встанет, а нос — сзади? Что тогда?

— У меня голова — не какая-нибудь дурья башка. У меня — не пустая башка, а водочная голова. Ей лучше знать, когда крутиться, когда остановиться, — отвечал человек, в голове которого плескалась водка.

Так и махнули на него рукой — разве такого переговоришь? Однажды возвращается народ из клуба, глядь: валяется в канаве человек. А голова у него — задом наперед, над галстуком — не нос, а затылок! Повернули беднягу, как надо. Но разве разберешь тут, как это — как надо, а как — наоборот? На спину положат, так нос в песок ткнется. Положат носом вверх — канавный человек на животе оказывается. Стали думать: а не повернуть ли

голову обратно? Попробовали потихоньку да полегоньку — ничего не получается. А сильнее повернуть оно вроде и боязно — ну как человека погубишь, голову ему открутишь? Тут Водочная Голова еще водки попросил. Поднесли стопочку — и пошла опять у него голова кругом! Крутилась, крутилась и — стоп! — опять невпопад, нос вбок уехал.

— А ну тебя совсем! — сказали люди. — Сам справляйся, как знаешь. Надоело с тобой возиться! — И разошлись по домам.

Человек-Водочная Голова тоже поплелся домой: когда голова набекрень, то хоть край дороги виден, худо-бедно, но как-нибудь дотопаешь. Пришел к себе, приложился к бутылке, и голова, к счастью, встала на свое место. С тех пор не раз и не два встречали Водочного Человека, и всегда голова у него скособочена. С бутылкой он не расставался, и голова кружилась как безумная и останавливалась как ей только вздумается — то так, то сяк, а то и совсем наперекосяк.

Был у Водочной Головы мотоцикл, но права у него скоро милиция отобрала: как за руль садиться, если голова то скособочена, а то и вовсе задом наперед? Водочной Голове и дома было не легче. Жена никак не могла взять в толк, как накрывать на стол. Если голова у мужа задом наперед, то его приходилось усаживать спиной к столу, чтоб хоть рот был над тарелкой. А руки? Вот ведь незадача! Представь, что рот у тебя на затылке и попробуй ложку до рта донести — обязательно прольешь! Вот так и Водочная Голова никак не мог сам поесть, и приходилось жене с ложки его кормить. Частенько отца, как несмышлениша, кормили его собственные дети.

Водочная Голова строил лодки — профессия у него была такая. Если голова у него сидела на плечах по-людски, то и лодки получались нормальные: и нос и корма — все на месте. Но если голова была набекрень, то, хоть убей, не разберешь, где у лодки нос, а где корма. Так оно и

шло: сегодня лодочный нос вроде бы на своем месте, а завтра — опять не поймешь где. Если голова у Водочного Человека была с косиною, как латышский пирожок со шпиком, то и лодку на воде заносило в сторону. Как ни правь, ее все равно вбок сносит. Поэтому Водочную Голову уволили с этой работы и стали думать, куда бы его еще пристроить. Наконец назначили колхозным пастухом. Да где там! Разве ему с коровами управиться! Сегодня он гонит коров все по кругу да по кругу, как заводной, вчера — только вперед, а завтра — только назад. Уж это как ей, свихнувшейся голове, вздумается.

Призадумалось правление колхоза — что делать? И решило так: человек еще молодой, на пенсию вроде рановато, какая-нибудь завалыщая работенка всегда сыщется. Пускай поработает хоть пугалом в колхозном саду. Голова у него кружится? Кружится. Вот это и хорошо. Пускай она у него в вишневом саду без передышки кружится, чтоб скворцы там больше не кружили. А если еще на голову натянуть крышку от котла или велосипедное колесо, а к нему подвесить порожние консервные банки, то они тоже закружатся, заблестят да забренчат, — вот и получится вроде бы карусель, и ни один скворец туда больше носа не сунет. Так и сделали, и Водочный Человек до сих пор стоит в саду. Голова кружится, банки бренчат, а скворцы больше не кружат — сад за версту облетают. Так он там и стоит. Если только не умер. Долго ли протянешь, если голова лишь и делает, что кружится?

Но Водочная Голова ничего — держался. Вот только нос у него стал синеть да краснеть, пока не сделался совсем лиловым. Во всей округе ни у кого не было такого лилового носа. Если такой нос обмакнуть в кувшине с белой сиренью, то она сразу лиловет. Детям Водочной Головы незачем было бегать в магазин за чернилами — попроси только отца обмакнуть нос в стакане с водой: чуть подержал — и пожалуйста, готовы настоящие чернила.

Взглянул как-то председатель колхоза на этот самый нос и его сразу осенило: а что если это — марганцовочный нос, то есть нос настоящего калия перманганата? Тогда, может, стоит перекупить у Водочной Головы нос и построить небольшой заводик по производству калия перманганата (ты-то наверняка знаешь, что такое перманганат калия — это те самые лиловые зернышки, которые растворяют в воде для полоскания, когда ангина)? Но Водочная Голова наотрез отказался отдать нос насовсем. Но займы иногда уступал: например, для больших маскарадов в доме культуры или для самодеятельного театра, если приходилось изображать на сцене пьянчужку.

Впрочем, иногда на Водочную Голову нападала стыдливость, и он пытался перекрасить свой лиловый нос. Но какая краска удержится на живом теле? И умываешься опять же каждое утро! Краска слезала, нос делался пятнистым и, в конце концов, лиловым, лиловым и только лиловым.

А потом с носом приключилось что-то уж совсем странное — он как-то покрупнел и округлился. И однажды — не помню, в какой праздник, — когда везде пестрело множество разноцветных воздушных шаров (одни бились на привязи, другие летали по ветру высоко над головами), — лиловый нос Водочной Головы заметил среди шаров лиловый шарик. Наверно, представил себе, что и сам он — тоже воздушный шарик или, наоборот, что тот шарик — тоже нос. Так или иначе, но он вдруг отделился от Водочной Головы и, радостно покачиваясь, полетел прочь.

«Нос! Мой нос!» — завопила Водочная Голова. И все кругом тыкали пальцами в небо и кричали: «Нос! Нос! Держите его! Верните владельцу!» Но носа так и не поймали. А сам человек-Водочная Голова вскорости умер. То ли сердце было слабое, сожженное водкой, то ли не снес он такого позора: подумать только — собственный нос сбежал! И человека не стало.

Кругом же стали поговаривать, что и от других пьяниц побегали полиловевшие носы, а сами пьянчужки, мол, вскорости поумирали — будто это такая носиная болезнь. Но другие утверждали, что все как раз наоборот, — не носы, а сами пьяницы больны, потому носы от них и сбегают. Обладатели лиловых носов с тех пор носят небольшие наморднички, или, точнее говоря, небольшие наносники, чтоб нос не сбежал. Увидишь человека Лиловый Нос — спроси, почему он без наносника: ведь нос от него сбежит!





ЗЕЛЕНАЯ
СКАЗКА

Однажды ночью в город вошел лес.

Люди даже не сразу поняли, что происходит: по улицам Пернавас, Ленина, Лубанас, по всем, по всем улицам к центру Риги, задыхаясь, неся запах бензина и звал на помощь. «Душат! — голосил он. — Со всех сторон обложили! Со всех концов города наваливается зеленый туман и до того пахнет хвоей и цветами, самым, что ни на есть взаправдашним лесом, — вопил он, — что всей городской гари просто дурно от такой невыносимой свежести!» «Спасите!» — голосил чад и неся дальше.

Перевалило за полночь. Троллейбусы спешили в депо на ночлег и взахлаб делились друг с другом новостями: говорят, уже занята городская автобусная станция у Даугавы и все автобусы выведены из строя — в выхлопные трубы заполз зеленый мох. Автобусы покашляли, покашливали, да и заглохли. Троллейбусам — ничего, их лес не трогает, а останавливает только машины, которые тархтят да чадят, здоровью вредят. А сейчас идет облава на такси и другие бензинные машины. Самосвалам учиняют настоящий допрос: кто сваливал в лесу отбросы, тряпки, склянки и жестянки? Допрос ведут можжевельники — цепкие ребята. И память у них цепкая. Все помнят: кто ягоды рвал вместе со стеблями, кто сердца и дурацкие надписи на деревьях вырезал, бересту срывал, кору обдирали, бил о стволы бутылки? Но главное — номера машин, которые утюжили лес, корежили корни, дышали лесу в лицо бензином.

Скоро в центре города столпились целые тучи смрада и гари. Куда же им было податься? Со всех сторон на город надвигался лес.

Только теперь поняли люди, сколько у них в городе угольной гари и чада, газа и смрада, вони помоек и

кошачьего духа, который так стоек. И вся эта тьма тьмущая запахов висела в воздухе. Они ругались, пинались и жались друг к дружке. Водочный перегар уселся на голову табачному. Великаны-фабричные дымы запросто перешагивали через затхлых запашков-коротышек, ростом с кошку или не выше баночки с клеем. Воздух стал такой густой, что хоть топор вешай. Да, да, просто-напросто зацепи за воздух — и топор висит. Воздух стал густой, как вода, и людям стало трудно передвигаться. Ты ведь знаешь, как трудно идти в воде, пусть она даже по пояс или по грудь. А уж если поверх головы — и подавно. Воздух был густой, как вода, и, конечно, куда выше головы.

А пацаны, у которых были надувные лодки, вот до чего додумались: вытащили их, чтоб по улицам плыть. Представь себе, кое-где это им даже удавалось. Лягушки в парке подпрыгнули, а назад на землю не шлепаются: знай в воздухе скачут с запаха на запах, точно по кочкам. И иные чудачки прямо из окна второго этажа шагнули и, представь себе, ничего с ними не случилось: будто в воду спрыгнули или на матрац. Да и чем не перина чада? Чем не матрац смрада — такой плотный и сбитый?

В центр сбежались и всякие-превсякие шумы. Рев машин и дребезжанье трамваев, стук-перестук отбойных молотков, всякий гуд, вой, гам, шип и громыханье. Громыханье и есть громыханье, у него хоть минуту помолчать терпенья не хватает: только и выискивает, где бы еще погромыхать. Встанет между столбами электросети или, скажем, между железобетонными балками — и ну биться-колотиться, так, что хоть уши затыкай. А шипенье подпущало шип во все, какие только ни попадись, трубы и трубки. В дождь оно, к примеру, гуляло по водосточным трубам.

Одним словом, лес согнал все шумы с насиженных мест, и теперь они маялись от безделия, не зная, куда себя деть. Громыханье скакало по железным крышам,

бренчанье волокло по улице жестяную ванну, где перекатывались пустые бутылки. И это было невыносимо.

А пыль! Пыль со всего города! Спасаясь от леса, она тоже удирала к центру, залезала в любую щелку. К утру голос радио до того пропылился, что оно долго откашливалось и только потом зарациовещало. А уж люди и вовсе оглохли: в уши им набилось столько пыли, что никак не промыть. Приходилось чистить их пылесосом. На домах осел такой слой пыли, что они стали одинаково серыми и номеров на них ни за что не разобрать: и люди жили без адресов. Да и сами люди сделались серыми, все на одно лицо, и только удивлялись, как это они раньше не замечали, сколько у них в городе пыли. Ну, бывало, скапливалась на башмаках, понизу на штанинах, — но чтоб такими тучами!

А лес подступал все ближе. Впереди плыл зеленый туман. Он пахнул сосновой хвоей и недавней грозой. Он втекал в комнаты через открытые окна и замочные скважины, через дымоходы и вентиляционные люки, и людям стало легче дышать. Потянуло запахом мхов и грибным духом. Но люди еще спали и не знали, что их ждет. И даже те, кого обычно мучила бессонница, в эту ночь спали крепко и сладко, как никогда.

Первой проснулась дворничиха — вышла поливать улицу да так и встала как вкопанная: что за невидаль! Палка метлы пустила крошечные побеги! А ниже — все прутья в зеленых листьях! На парадных дверях облупилась краска, и они тоже зазеленели.

И на внутренних дверях — повсюду, куда только втек и просочился зеленый туман — закопошились и повывазили на свет крошечные зеленые ветки, хвоинки да почки. Шкаф стал похож на дикий кустарник из джунглей, ножки стула вцепились в пол крошечными корешками. В этой комнате мебель поросла березовой листвою, в той — зашелестела ясенем. И всюду над полом кудрявилась мел-

кая поросль. В корзинке для рукоделия вся пряжа переплелась с зелеными побегами. А телевизор до того зарос, что дворничиха не выдержала и выстригла ножницами в зелени четырехугольное окошко: вечером продолжение передачи «В гостях у Мухомора». Выглянула дворничиха наружу и руками всплеснула: по улице шагают... сосны! Высокие, с коричневыми стволами. А у их ног, точно зеленое одеяло, ползут мхи и ягодники. А это что там такое? Никак гриб? Так и есть, гриб! Батюшки! Да это же боровик! Схватила она корзинку, ножик и вдогонку. Ух, еле догнала на перекрестке. Догнала и спохватилась: что бежать-то? Грибы сами навстречу идут да идут! Присела дворничиха на край тротуара, корзинку сбоку пристроила — и за работу: как подойдет гриб поближе, она его хватать — и в корзинку. Вот радости-то было!

Скоро всю улицу запрудили грибники. А лес все тек и тек, точно зеленая река, и грибники по обеим сторонам улицы сидели точь-в-точь как рыбаки по берегам речки.

А по соседним улицам валом валил орешник, задевал зелеными ветками окна: кому лень на улицу выйти — рви орехи прямо из окна.

Спичечные коробки открывались сами собой, и оттуда выпрыгивали спички. Они взбирались друг другу на плечи — все выше и выше, одна на другую. И получалась худышка-осинка: спички ведь из осины делают. Карандаши и ручки тоже складывались в зеленые деревца. Лыжи, салазки и хоккейные клюшки зазеленели. А копые Яниса Лусиса сплошь поросло лавровыми листьями. Даже у инвалида войны вместо деревяшки — зеленая нога-елочка!

Школьные парты до того заросли, что ребята по утрам в них ползком залезали. У тех, кто повыше, голова еще нет-нет да и высунется наружу, а тех, кто пониже росточком, совсем в зарослях не видно. Вызвали Янку к доске, а он, как говорится, в кусты; удрал, как заяц, в

кусты на своей парте и молчит, не отзывается. Наверно, просто урока не выучил. Вызвал его учитель второй раз — Янка опять не отзывается. Пришлось его всем классом искать. Еле отыскали: он зарылся в листья под скамейкой.

А по улицам все шел и шел зеленый лес, и то листья, то хвоинки сыпались людям в бороды, прически и сумки.

И вот лес вступил в самый центр города. Первым туда прорвался зеленый туман, и завязалась решающая схватка. Чад и смрад вовсе и не думали сдаваться. Гарь обкусывала макушки сосен, обгрызала цветы. Шум, гул и скрежет неслись напрямиком по бруснике, давили и топтали ее, драли за уши елку, отваливали подзатыльники боровикам. Пыль подминала под себя и душила цветы.

А лес все шел и шел. У леса было так много цветов и листьев, что шумы обрастали мхами. Они еще бежали, еще топали, но уже мягко, точно в бархатных башмаках, и все чаще загребали ногами, пока наконец не рухнули, не вросли в землю, не окинулись зеленью и тишиной, словно кочки в лесу. А лес глубоко-глубоко втянул в свои зеленые ноздри всю эту серятину — городскую пыль, разок чихнул, прокашлялся, — и пыли как не бывало. Воздух снова чистый и насквозь зеленый.

Но смрад и чад еще держались. Смрад и чад, гарь и копоть выступали целыми полчищами, и многие из этих гадов были ядовиты. Приходилось лесу и этих в себя вдыхать, иначе не одолеешь. Вдохнет сосна бензинной гари — макушка у нее сразу и сникает. Глотнет береза угольного чада — глядишь, береста почернела, конец березе. Но зеленые деревья сражались, не щадя себя.

Ночные фиалки глотали и глотали бензинный перегар и гибли целыми полками. Засыхали черемухи, угасали березы, с дубов осыпались отравленные желуди, с больших рябин — ягоды.

Но у леса — большая зеленая жизнь, лес непобедим. И

уже в сумерках можжевельник, точно вонючему хорьку, вцепился в горло последнему мерзкому запаху...

Лес победил.

А на следующую ночь он ушел так же внезапно, как и пришел. Но на улицах, дворах и задворках осталось его зеленое дыхание. Оно еще долго жило там, пока опять не взяли верх грохот и смрад.

И все-таки теперь люди знают, что хоть раз в году в город входит лес, зеленый, зеленый лес... До того зеленый, что зеленой его нет никого на свете, до того чистый, что чище его нет никого на свете. Когда же над городом проливается зеленый дождь и в лужах плавают зеленая пыльца, люди уже знают, что она — со свечек сосновых, и задумчиво и подолгу глядят в лужи, будто припоминают: идет зеленый лес. Дыханье у него зеленое, бровь зеленая, карман зеленый и полон зеленых кузнечиков. Сунет он в карман зеленую руку и высыплет горсть зеленых кузнечиков где ему только вздумается — на почте, на вокзале, в магазине или даже прямо на улице. А кузнечики — врассыпную по всему городу. Скачут, стрекочут, и люди ходят осторожно: как бы не наступить! Даже трамвай останавливается: водитель выходит из кабины и сгоняет кузнечика с рельс — как бы не переехать! Каждый год в город приходит зеленый лес и изводит смрад и чад, усмиряет шумы, заглаживает пыль.

Помнишь, в прошлом году в город пришел лес? А когда уходил, даже жалко стало, хотелось с ним уйти. И в этом году он опять придет. Только заранее не узнаешь, когда. Был я вчера в лесу. Вслушивался, всматривался — вроде ничего не заметно. «Собираешься в город?» — спрашиваю. Молчит. Не отвечает. Большой зеленый лес.

БОЛЬШОЙ, БОЛЬШОЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ Л-Е-С





СЕРАЯ
СКАЗКА

Я—Серый. Я сер, как мышонок, как серая птаха и пепел, серый-пресерый, как пыль. Я серый. И потому, что есть на свете я, такой серый-пресерый, так ярко выделяются все другие цвета.

Где меня можно увидеть? Да повсюду. Вот, скажем, весна. Серой-пресерой весной все серым-серо, снег стаял, земля еще серая и почки тоже серы. Но кракнула серая почка (серая моя дочка) и вот уже цветет—верба! А разве была бы ты, вербушка, такой красивой и белой, если б я, серый, не был весной таким серым-пресерым?!

Серой весной из серой земли вылезает зеленый тюльпан, из серой земли вылезает, точно чертенячьи рога, красный ремень.

Или, скажем, утро. В серых рассветных сумерках плывут по лугу белые простынки тумана. Разве казался бы туман таким белым, не будь утро таким серым-пресерым? На серое небо выходит красное солнце, и все сразу видят: до чего же красиво! В серое небо заплыл золотой месяц, и все сразу видят: ох, и красив же! А все потому, что небо-то серое. Я—у начала всех красок. Я—у начала тех красок, по которым так скучают люди. На сером расвете они ждут солнца, серой ночью—луны. Серой весной—цветов, осенью—белого снега. Я—серый, это из-за меня люди ищут другие краски.

Я важный-преважный цвет. Важнее, пожалуй, нет. Все выделяется и хорошеет лишь в соседстве со мной. Видишь белую ангорскую кошку? Нравится? Ну, еще бы!—ведь я сижу рядом с ней. А мои любимцы, серые воробьи? Если бы не они, с кем бы мы сравнивали канареек? Разноперые птицы потому так и бросаются в глаза, что на соседней ветке—серые. А этот мышонок так мил и бел, оттого что брат у него сер. Белый песок, кто твой браток? Серый, серый песок!

Я — Серый. Недаром говорит народ: «Вали на серого! Серый все снесет». Вот я и помогаю всем краскам, когда им самим не пробиться на свет: выпущу их из-за своей спины да еще и подтолкну: «Ступайте! Пусть все вами любуются!» Раз — и вытолкнул из серой-пресерой дождевой тучи семицветную радугу! Я не жадина, другим не завидую: сам вечно в тени. Я выдуваю из себя все цвета. как серая мыльная вода выдувает из себя на кончик соломины разноцветные пузыри. А ты пускал пузыри? Ну, тогда ты уже понял, кто тебе помогал. Кто же, как не я, Серый?

Какой я с виду? Я же говорил: посмотри на пыль, на серую пичугу или пепел. И потом кинь в пепел цветную пуговицу. Какая она яркая, красивая, верно? А за ней? Кто там за ней? Это я — Серый.





ПЕСТРАЯ
СКАЗКА

Разные бывают Пестряки. Бывают Пестряки большие, бывают Пестряки маленькие. Это они всё кругом крапинками испещряют да испестряют. А их самих отыскать не так-то просто. Обычно лежат они у моря, среди камней. Маленькие — совсем как пестрая галька и прячутся среди гальки, большие — между камней покрупнее. Ищи их там и обязательно отыщешь! Знаешь, как отличить Пестряка от камня? Очень просто. Прислони к нему руку: если на ладони отпечатались крапинки, то это и есть Пестряк, а нет — значит, обыкновенный голыш.

Катятся Пестряки по свету пестрым-пестры, точь-в-точь игральные кости. Только у Пестряка бока красками пестро заляпаны. Он и останавливается точь-в-точь, как игральные кости: когда только вздумается, где только вздумается, возле кого только вздумается. И прислоняется ко всему тем пестрым боком, каким ему вздумается. Что, подкатился к горошку? Значит, быть горошку цветным: розовым и белым, розовым и лиловым. А теперь к мухомору? Значит, на этот раз повернулся Пестряк красным боком, в белую крапинку. Подкатился к корове? Не иначе как бок у него белый с черными пятнами или с коричневинкой. Пестряк, он даже в свинарник закатывается, и тогда получается скотинка с пестринкой — поросенок с пятнышком, с пестряковой отметиной. А как этот самый Пестряк насобачился на собак пятна наляпывать! Пятнистые кошки, пятнистые божьи коровки и пятнистые-препятнистые змеи все до одной обкатаны пестрым боком Пестряка.

Да ведь он не только по земле раскатывает, он и по речному дну может. Как он там рыбы спины испещряет! Какими дивными точками да крапинками! Ты когда-нибудь форель видел? А лосося? Вот кто разрисован так разрисован!

Пестрые чибисовы яйца — тоже пестряковы проделки. И всех пестрых бабочек опять-таки он разукрасил. И птиц. Едва пошли у птенца отрастать перышки, Пестряк тут как тут и ну их на все лады пятнить-распестрять! Потому и говорят в народе: «Пестро, не гладко, как куропатка». Это Пестряк куропатку так исконопатил.

Или вот люди спрашивают друг у друга: «Как дела?» — «Так да саяк, в полоску да в крапинку». И все сразу понятно: значит к этому человеку подкатился Пестряк — он ведь великий путаник и чудак. К примеру, недели утром на Илзите белое платье и пошли в лес гулять. А Илзите — и сядь на чернику! Платье, понятно, стало серо-буро-малиновым в крапинку, а илзитина радость вся слезами закрапана.

Или вот еще. Уселся Янка за чистописание. Ну, думает, сегодня мне спешить некуда, чисто напишу. Да не тут-то было! Посадил кляксу, стал стирать — от волнения посадил вторую. Заревел Янка от обиды, и на тетрадку — плюх! — капнули три здоровенных слезины. И в каждой расплылось по три буквы. Стала вся тетрадь в серо-буро-малиновых разводах. Спрашиваю его: «Ну, как дела, Янка?» «В крапинку», — отвечает, а сам ревет.

Когда у машины в дороге спустило колесо, когда с самого утра не ладятся дела, а меньшей братишка ухватился за скатерть и стянул ее со всей посудой на пол, — тогда-то и небо покажется в крапинку.

Люди говорят: пестрая жизнь... Значит, были в ней белые дни, были черные, были желтые — дни зависти, были синие — дни надежды. Попроси-ка бабушку, она расскажет. Она ведь частенько приговаривает: «В глазах зарыло! В глазах запестрило!» Кому, как не ей про Пестряка знать? Долгий и пестрый век прожила.

Луна, и та рябовата-конопата, в пятнах. Ты и сам, наверно, в полнолуние это заметил. А нет — так приглядишься получше. Пестряк на Луне еще до космонавтов побывал.

Вон ученые говорят, Солнце—тоже не гладкое, и на Солнце есть пятна. Выходит, и туда Пестряк наведался.

Кто же он такой, этот Пестряк? Почему он вот именно об этом поросенка боком потерся, эту тетрадку измял, этого щенка пятнами разукрасил, эту, а не другую корову прозвал Пеструшкой? Отчего у гороха, бобов и королевской лилии цветы пестрым-пестры, а у других чистые? Почему у этого мальчишки весь нос в веснушках-конопушках, а у того гладкий? Этого я не знаю. Это тебе ученые объяснят. Сказка про Пестряка просто сходит с языка, а ученые за Пестряком гоняются и всячески его изучают. Они-то наверняка знают.

Если ты не нашел Пестряка среди камней у моря, то сделай вот что. Оставь с вечера на столе стакан с водой и коробочку с акварельными красками. Да не забудь ее открыть и с каждой стороны положи возле нее по чистому листу. Проснешься утром, а вся бумага пестро измазана! Любит Пестряк ночью поиграть, душу потешить: обольет кирпичики красок водой и давай по ним взад-вперед носиться, как по клавишам рояля! А потом—с такими-то ногами!—да на белую бумагу! Одни говорят, что это он так балуется, другие—что он упражняется, руку набивает. Но тогда бы и ходил на руках!

Лучше всего с Пестряком знакомы художники. С ними ему просто, от них он не прячется. Художник пишет картину, а Пестряк усядется среди тюбиков или на самой палитре (такая дощечка, на которой краски смешивают) и знай насвистывает, краски смешивает. Пестряк—художникам помощник.

Решил я как-то сложить печь и попробовал уговорить одного Пестряка, который жил у художника Улдиса Земзариса, прийти ко мне глину месить. Куда там! Спросил у него Земзарис, не сходит ли он к Зиедонису глину помесить, а тот в ответ: «Пусть Зиедонис сам свою глину месит. Или пусть Серяка позовет». Не дело, мол, Пестряку

зря краски переводить, все в одну кучу валить, чтоб получилась серая! Наоборот, Пестряк норовит все серое в разные цвета раскрасить.

Ну и все. Нельзя такие невозможно пестрые сказки длинно писать, а то начинает в глазах рябить. Когда будешь читать эту сказку — оторвись, взгляни разок-другой в зеркало. Как, не стали глаза рябыми? Если уже в крапинку, то лучше передохни.





ЯНТАРНАЯ
СКАЗКА

«Как? У тебя нет янтаря? Ни единого?» — Глаза у крота так округлились, что стали размером с булавоочную головку. Это означало, что крот ужасно удивлен: обычно-то глаза у кротов такие крошечные, будто их и вовсе нет. «Как? У тебя нет янтаря? Ни единого?»

«Ни единого», — сказал я.

«Ну, тогда ступай за мною», — сказал крот. — У тебя, правда, брови какие-то редкие. — Он взглянул на меня. — Привяжи-ка ты к ним зубные щетки, а то глаза песком запорошит».

Он помахал мне лапой и скрылся в норе. Но вскоре выглянул наружу: «Ну, что стоишь?» Я поскорее приладил над глазами щетки и полез в нору.

Часа через два пути крот и говорит: «Нет, так дело не пойдет! Слишком уж ты медленно ползешь. Прошли какой-нибудь десяток метров, а до озера Энгуре не меньше десяти километров. Знаешь что? Шагай-ка ты лучше поверху, а я поползу, как полз. А чтобы нам друг дружку не потерять, я буду изредка высовываться наружу. Чтобы не спутать меня с другими кротами, приглядишься: видишь, у меня один зуб — янтарный? Как я высунусь да засмеюсь, ты меня сразу и узнаешь». Крот разинул рот и засмеялся — крикс-крикс-крикс! — точно рядом трижды переломили карандаш.

Крикс! Крикс! Крикс!

Мы так и сделали, и снова пустились в путь. Шли долго. Недели три. Мне, правда, в пути передышки выпадали: кроту ведь не под силу под землей идти так быстро, как мне по верху. Попадались в дороге и ручейки, и канавки. Я-то через них перемахну — и готово, а ему пришлось под ними — ползком.

Так что времени у меня было хоть отбавляй. Я поси-

живал и почитывал. Прочел все, что мог, о кротах и янтарях, об озере Энгуре. Оказывается, возле него оттого так много янтаря, что когда-то на этом месте было море и янтарь тихо колыхался на дне. Потом море отступило и, точно большую бухту, оставило после себя озеро.

На третьей неделе пути мы вышли в поля, что неподалеку от Энгуре. В земле, взрытой кротом, все чаще стали посверкивать крошечные янтарики. Спрашиваю у крота: «Можно, я их себе насобираю?» «Этих? Да зачем они тебе? — рассмеялся крот. — Это ведь даже не янтарь, а так, мелочь. Здесь такого добра полным-полно. Вот если бы ты побродил по картофельным бороздам или осенью прошелся по всходам озимых, это другое дело!..»

И я пошел бродить по картофельным бороздам и вправду набрал полный карман янтариков. И увидел, как мальчишки ходят за отцовским плугом. Точно скворцы на борозде, что подбирают за плугом червячков, они то и дело нагибались за янтариками.

На исходе третьей недели мы вступили в большущий сосновый бор на берегу озера. В том бору — ни единого кустика, ни самой худосочной поросли: кругом один только зеленый да сизый мох, и в нем видимо-невидимо грибов. Крот высунулся наружу и сверкнул — крикс-крикс-крикс! — янтарным зубом: «Теперь совсем близко! Полежай за мной!»

Приладил я себе зубные щетки и полез за ним.

Ползли мы, ползли и вползли не то в комнату, не то в целый зал, где работало великое множество кротов. Стены там были из чистого янтаря, и кроты выколупывали его оттуда, обтачивали, шлифовали, опиливали напильниками и сверлили сверлами.

«Здесь янтарей оголяют, срывают с них одежонки, полируют до тех пор, пока они не станут похожими друг на дружку, как две капли воды. А потом из них мастерят ручки для мухобоек и мундштуки,» — сердито сказал крот.

Еще из янтаря выкругляли пепельницы и баночки для сапожной ваксы. «Эх, совсем не для этого янтарь создан! — сказал я. — И кому только все это нужно? Кто все это выдумал?» — «Одни дураки выдумали, — сказал крот, — а другие делают. Дураки — для дураков».

Сами кроты — мучители янтаря были обвешаны им с ног до головы. Зеркальце достанут — так ручка у него непременно янтарная. Солнечные очки янтарем оправлены. Башмаки янтарем окаблучены. За версту видно, что тут каждый изо всех сил пыжится, чтобы показать, как он янтарь любит. Вот даже до чего додумались: какой-то ловкач привинтил себе янтарное ухо, другой вставил янтарный глаз и нарочно таращился по сторонам, чтобы всем его видно было.

Не понравилось мне там. Ведь эти пустоеи не делом заняты, а так, пустячничают, янтарь по пустякам растрачивают. Расправляются с ним как с какой-нибудь картошкой: варят, солят, размундируют. Лепят янтарные клецки. Пекут янтарные блины. Янтарной пудрой посыпают торты. Я и кроту сказал, что очень уж мне эти ломастеры не нравятся. Я ведь слышал, как янтари кричали, роптали и проклинали пустоголовых кротов. А те ничего не слышали и не могли слышать: не понимали янтарного языка.

«Да, — сказал мой крот, — умниками их не назовешь. Умницы есть, да только не здесь. Пойдем-ка дальше».

Снова ползли мы, ползли и приползли в янтарную мастерскую. «Вот здесь понимают язык янтаря!» — сказал крот. Я вслушался: прежде чем взяться за работу, каждый мастер сначала советовался с янтарем: «Как ты думаешь, а не сохранить ли нам этот блик на правом боку? Может, не стоит заглаживать вот эту щербинку?» Здесь умели видеть малейшие изгибы камня, каждую его щербинку. Скажем, у янтарика три лапы. Так у него третью не отрывали, лишь бы он походил на прочих, двуногих. Или, скажем, у другого — четыре уха. Его так и отпускали

гулять по свету—четвероухим! А этот усатый? Значит, пусть таким и остается, усы топырщит!

Потому и получались в той мастерской прекрасные украшения. Там янтарини сами выбирали с мастером, что им больше всего к лицу. «Тебе идет металлический воротничок. А тебе—деревянный кантик. А вот тебе нужна серебряная цепочка». Самый заурядный янтарь тут вдруг раскрывал свою подлинную суть и поворачивался к людям своей самой лучшей стороной. Он начинал излучать такой теплый свет, что все восклицали: «Глядите—что за удивительный янтарь!» Тут работали художники и в каждом янтаре отыскивали прекрасное, чтоб оно всем было видно.

«Это еще что!—сказал мой крот.—Тут ведь работают и те, для кого больше нет никаких тайн в мастерстве ювелира, кто замахнулся на большее!.. Эти искусники создают свойства человеческого характера. Взгляни туда. Вон Хвастливость, она же Зазнайство».

Это была соломенная кукла с янтариной вместо пупка. «А это Недоброжелательство. Еще ее Черной Завистью называют».

Я взглянул, куда показывал крот. Там бескрылый янтарь подпиливал крыло своего крылатого соседа. Так они и стояли бок о бок: крылатый и завистник, стремящийся подпилить крылатость.

Рядом крот-художник трудился над Болтливостью или Сплетней: одна янтарина сунула язык в ухо другой, та—в ухо соседке, соседка—в ухо своей соседке, и так по цепочке до тех пор, пока последняя янтарина не лизнула ухо первой, той, от которой и пошла сплетня. Так и стояли они тесным кружком, а язык каждой—в соседкином ухе.

В руках художников янтарь сказочно преображался: он тоньшал и хорошел, превращался в янтарный свет. Свет сгущался в янтарное облачко, из которого вдруг возникал янтарнейший человек,—и в любой миг он

мог снова обернуться янтарным кругляшом или навсегда растаять душистым янтарным дымом.

Когда пришло время уходить, крот разрешил мне взять что-нибудь из янтарной сказки. Я выбрал Любовь. Любовь — такой странный янтарь, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Когда я его выбирал, мне почудилось, что он поет. Так в детстве пела над моей колыбелью мать...

Я пополз в обратный путь по кротиному коридору. Остановился перевести дух и чувствую: на меня кто-то смотрит. Это был янтарь. Он смотрел на меня, и мне стало бесконечно хорошо: так на меня смотрели только люди, которые любили меня.

Я вылез из норы — и янтарь тут же исчез, засветился вдали, точно звезда. Я сразу признал — это мой янтарь. Среди миллионов и миллионов звезд я узнаю свою.

Дома я положил его на стол, и мне никогда не скучно с моим янтарем. В новогоднюю ночь он искрится, точно бенгальские огни, а по вечерам пахнет красными свечками сосны. Иногда он говорит со мной. Устану — он шепнет мне слова, от которых как рукой снимает усталость. Поздним вечером, когда всех сморит сон, янтарь начинает говорить — и тогда я могу проходить сквозь стены и ночную тьму. Потому что сильнее Любви нет ничего на свете.

Иногда мой янтарь смотрит на меня, будто о чем-то просит. Он просит меня совершить что-нибудь такое, что мне и впрямь по силам: спасти звезду, упавшую в море, поймать в полете раскаленную пулю и так сжать ее в ладонях, что она задохнется. Могу отвести руку, занесенную для удара. Могу пресечь сквернословие — и грязные слова сохнут и осыпятся с губ, словно подсолнечная шелуха.

Все это мне по силам.

А то вдруг мой янтарь на столе задышит быстро-быстро, словно в большом волнении или от долгого бега.

Значит, надо спешить на помощь: где-то калечат дерево, где-то разоряют гнездо, где-то причиняют зло доброму сердцу. Я опускаю янтарь в карман, и мы бежим. Когда он дышит у меня в кармане, я могу пробежать хоть сотни километров и не устать.

И еще одним волшебным свойством наделен мой янтарь: в присутствии плохих людей он как-то весь тускнеет. Говорю с человеком, а сам вижу: янтарь тускнеет. И насто-раживаюсь, понимаю: человек этот никудашный, только прикидывается хорошим.

Зато среди хороших людей янтарь словно оживает: иногда так рассияется, что у меня сердце заходится от счастья, и теплеют глаза. «Какие у тебя теплые глаза!» — говорят мне. «Это все янтарь», — говорю я. — «Это все янтарь». А он светится на моей ладони. «Это все люди», — говорит он. — «Это все люди». Мне хорошо, мне легко живется с моим янтарем.

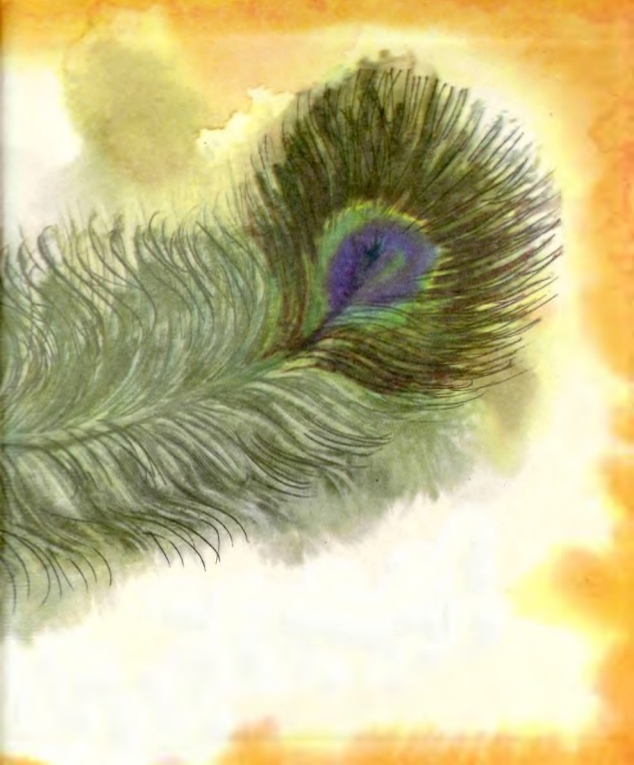
А крота с тех пор я не видел. Каких только кротов не доводилось встречать, но того, улыбчивого, с янтарным зубом, того самого не встречал. Наверно, до сих пор выискивает людей, у которых еще нет своего янтаря. Если повстречаешь улыбчивого — смело полезай за ним в нору. Он приведет тебя в янтарную сказку. Может, в Сказку Всех-Превсех Цветов, может, в Сказку Всех-Превсех Запахов, может, в Сказку Шелестящей Травы или в Сказку Бурливого Моря. Ведь на свете много сказок, и они никогда не кончаются.

СОДЕРЖАНИЕ

Белая сказка	3
Желтая сказка	5
Коричневая сказка	9
Синяя сказка	13
Черная сказка	19
Красная сказка	23
Лиловая сказка	29
Зеленая сказка	37
Серая сказка	45
Пестрая сказка	49
Янтарная сказка	55







55 коп.



Rigas CB



500101175